В. ФРАНК

Беседа с Георгием Адамовичем

— И Вам в Париже, и мне в Лондоне довелось видеться и беседовать с Анной Андреевной Ахматовой. Мне хотелось бы сегодня обменяться впечатлениями об этом большом русском поэте. Какое Ваше главное впечатление от встречи с А. А. вот теперь, в 65-м году?

— Мне трудно в нескольких словах передать, какое она произвела на меня впечатление. Прежде всего, я не знал, хочет ли она со мной встретиться, потому что прошло больше 40 лет с тех пор, как я уехал из России; я был очень обрадован, когда услышал голос ее по телефону из Лондона, что она будет в Париже и хотела бы меня увидеть. Физически она, конечно, резко изменилась. Она была необычайно хороша в молодости; а теперь это была красивая, видная — но пожилая женщина. Ведь ей — за 70 лет. Когда я случайно в разговоре сказал, что «недаром вас сравнивают с Екатериной Великой», она, мило усмехнувшись, сказала: «Я была лучше, чем Екатерина».

Теперь, какое впечатление от нее как от человека. Она была в молодости очень молчалива, очень сдержанна. Даже когда шло обсуждение стихов, она почти всегда молчала, а говорил Гумилев. Теперь же она стала очень разговорчива, авторитетна, очень уверенна в каждом своем суждении. Это первое, что меня удивило — не в хорошую и не в дурную сторону, а просто как перемена в человеке. И чувствовалось, что человек этот очень много пережил, и одна из последних фраз, которую я от нее слышал незадолго до того, как она уезжала из Парижа, при последнем нашем свидании, была: «Кажется, все, что может судьба послать тяжелого человеку, все это я испытала».

— Вы говорите, она стала гораздо более авторитетной и уверенной в своих суждениях, чем раньше. Но, во-первых,

тогда, в далекие петроградские времена, она была еще девочкой, а во-вторых, не думаете ли Вы, что в последние годы жизни она сознавала себя уже почти единственным носителем большой традиции русской поэзии и поэтому говорила уже как власть имущая, по праву, так сказать.

— Бесспорно. Но кроме того, тут сказалась и какая-то черта характера. Я вспоминаю, что Александр Блок, которого я знал мало, но все-таки знал и несколько раз слышал его замечания, не производил впечатление человека в себе уверенного, человека авторитетного. Наоборот, он был сдержан, хмур, как будто ни в чем не уверен. Значит, это была черта характера Анны Андреевны в возрасте, близком к настоящей старости.

— Она меня поразила своим, как бы сказать, мужским умом, несколько сардоническим, сухим, сухой иронией, которой она пользовалась в суждениях.

— Да. Она была очень умна и часто резка в суждениях. Я несколько с ней разошелся в разговоре, в частности, в суждениях о молодых советских поэтах. Она твердо отстаивала Бродского, очень неодобрительно отзывалась о Евтушенко и Вознесенском, хотя признавала дарование того и другого. Но я хочу еще вернуться к ее манере в молодости. Прежде всего, я ее не знал девочкой. Я с ней познакомился года за два, за три до революции. Ей было тогда лет 25—26. Я помню собрание в Цехе поэтов. Сидели поэты и один за другим читали стихи. Почти неизменно первым всегда говорил Гумилев. Он был человек, уверенный в своих суждениях; и действительно, он обладал необычайной способностью сразу улавливать в стихах недочеты или удачи. Ахматова молчала. Но вот сравнение, которое только что мне пришло в голову. Я где-то читал, что когда известный французский политический деятель Жорес произносил в Палате блестящие и длинные речи, то Клемансо обычно молчал, но потом одной фразой словно прокалывал большой шар, который оказывался ничем. Что-то подобное было в молчании Ахматовой. Она слушала Гумилева немножко иронически (может быть, потом она изменила к нему отношение, но тогда это было так). И иногда одной фразой будто говорила что-то такое, что подрывало его очень умелые и очень тонкие замечания.

— Один вопрос: Г. В., в те годы. когда Вы с ней встречались в Петрограде, она была еще женой Гумилева, это было до их расхождения или развода?

— Я ее знал и женой его еще, но не помню, какой это был год. В первый раз я был у них в Царском Селе; у нее на коленях сидел ее сын Лев Николаевич Гумилев, ему было тогда года три. Его кто-то, очевидно, научил фразе, которую, конечно, он не понимал — «папа формотворец, а мама истеричка», и эту фразу он повторял при общем хохоте. А потом я ее встречал, когда она с Гумилевым разошлась и сошлась с Шилейко, который был ее вторым мужем.

— Вы сказали, что Блок вряд ли стал говорить так авторитетно и с такой властностью, как Ахматова. Меня ее властность тоже удивила, но я принял это как нечто естественное, потому что на фоне безлюдия русской советской литературы шестидесятых годов она имела право чувствовать себя царицей, и вела себя как царица. Из-за ее состояния здоровья она почти не вставала с кресла, и все ее посетители подходили целовать ей руку, а она их принимала очень милостиво или менее милостиво, но всегда как царица.

— Я видел Паустовского в Париже приблизительно за год или за 2 до приезда Ахматовой. Значит, это был 63 или 64 год. Он интересовался главным образом Буниным и хотел меня видеть потому, что я хорошо знал Буниных. В разговоре, помимо Буниных, мы коснулись Ахматовой. Он сказал: «Куда бы у нас Анна Андреевна ни пришла, она всюду королева». И очевидно, что это выражение установилось тогда в России, потому что то же самое дословно повторила внучка Пунина, который был последним мужем Анны Андреевны: «Куда бы Ахматова ни приходила, она везде была принята как королева». Значит, она себя так держала, и все это чувствовали, что она занимает какое-то царственное место.

— Вы, наверно, беседовали с Ахматовой не только на литературные и не на чисто житейские темы. Ваша биография и ее биография сложились по-разному. Вы выехали из России в 24 году, а она осталась и провела там все страшные годы сталинщины и войны и страшнейшие для нее годы послевоенной ждановщины. Нашли ли Вы с нею общий язык после этой длительной разлуки?

— Трудно говорить об общем языке, потому что после этих 40 или 50-ти лет разлуки я видел ее три дня и имел с нею три долгих разговора. Общий язык о стихах нашелся сразу. Других

тем мы не касались, в частности, не касались одного пункта, в котором я с ней не совсем согласен: я имею в виду ее гордость тем, что она осталась в России.

— *Вы имеете в виду ее старое стихотворение 20-х годов? Как оно начиналось?*

— Оно начиналось строфой, которая ни в каких изданиях больше не воспроизводится, в советских во всяком случае:

Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал
И дух суровый византийства
От русской Церкви отлетал.

— *А конец этого стихотворения?*

— Конец касается другой темы. Я могу сказать, что при всем моем уважении и любви ко всему, что Ахматова делала и говорила, здесь я не могу во всем с ней согласиться. Она писала это в первые годы революции:

Мне голос был, он звал утешно.
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край родной и грешный,
Оставь Россию навсегда».

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

То есть — уехать из России — это измена, это что-то, что осквернит.

Несколькими десятками лет позже во вступлении к «Реквиему» она писала то же самое:

Нет, и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

В самой интонации этой строфы чувствуется гордость, чувствуется вызов. Это очень достойная позиция. Я не имею ни малейшего намерения в чем-либо Ахматову упрекнуть. Я считаю, что остаться «с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был», это большая заслуга, позиция, которая достойна всяческого уважения. Но с чем я не могу согласиться, это с вызовом, который в ее интонации чувствуется. Ведь если бы все

те, которые оказались вольно или невольно в эмиграции, если бы они остались в России, то оказалось бы, что пятьдесят лет Россия молчала или повторяла бы только то, что совпадает с партийной мудростью. Некоторых русских мыслителей правительство советское выслало, другие уехали добровольно. Остались же только люди, которые могли выражать мысли, совпадающие с партийными указаниями. Вся линия русской философии, русской мысли, идущая, в общих чертах, — от линии, заложенной Владимиром Соловьевым: Булгаков, Бердяев, Франк, Шестов, хотя он и не принадлежит прямо к этой линии, но во всяком случае это был выдающийся русский мыслитель; никто из них не мог бы написать того, что написал, оставшись в России. Один из выдающихся русских людей нашего века, глубокий мыслитель, остался и погиб в ссылке: это о. Павел Флоренский, автор замечательных книг. Если бы эти люди остались в России, это обернулось бы сорокалетним молчанием России или же, как теперь в советской России делается, за великих философов выдавались бы люди, может быть, и талантливые — но и только. Я ничуть не хочу умалить чисто литературное значение Белинского, но когда там пишут, что Белинский был гениальным философом и ставят его чуть ли не наряду с Кантом и с Гегелем, то это чепуха. Вся глубинная линия русской мысли, русской философии, окрашенная интересом к религии, не могла бы существовать в советской России. И это была бы большая потеря. Может быть, многое из того, что написано Буниным, могло бы быть написано в советской России, но он не был бы там самим собой. Этого я не могу забыть. Повторяю, я признаю и уважаю вполне заслуживающую признания и уважения позицию Ахматовой, но только без вызова тем, кто с ее позицией не согласен.

— Я с Вами, в общем, согласен, только хотел бы некоторые «акценты» «подправить», как складывается по моим впечатлениям. Во-первых. Вы говорите — пятьдесят лет, но первые десять лет после революции и сама Ахматова, и многие другие писали так, как им, в общем, хотелось. Это первое, а второе то, что в ходе моих бесед с А. А. Ахматовой и наблюдая ее встречи со старыми друзьями, которые прожили весь этот период в эмиграции, я не замечал в ней никакого чувства превосходства по отношению к ним. Наоборот, она чувствовала себя, как бы сказать, как рыба в воде, вдруг очутившаяся среди выживших ее сверстников и сверстниц, с которыми она могла говорить без оглядки, прямо

так, как она чувствовала и чисто в бытовом отношении и даже в более широком мировоззренческом плане.

— Да, конечно. И я повторяю Ваши слова: она была человеком и воспитанным, и умным, и живым, настоящим человеком, и, конечно, когда я говорю, что в ее позиции был какой-то вызов, это не относилось к отдельным людям. У меня не было в разговорах с ней — в общем мы проговорили часов 5—6 — ни одной минуты ощущения недоброжелательства, что она на одной стороне, а я на другой, ничего подобного не было. Но одно из последних ее стихотворений и одно из первых, вот то, которое я прочел, — показывают, что она считала свою позицию вернее другой, между тем как в таком сложном явлении, как революция, со всеми ее несчастьями, нельзя брать одну сторону и считать, что только это поведение правильно, а все другое неправильно. Я тоже боюсь быть неправильно понятым; я только хочу сказать, что можно было поступить так, как поступила Ахматова, но можно было поступить и так, как поступил, скажем, Бердяев (Бердяев, правда, был выслан) или как Лев Шестов и другие. Кстати, тот огромный интерес к Бердяеву, который, по всем доходящим до меня сведениям, сейчас существует у молодежи в России, оправдывает то, что я говорю, что там, очевидно, чувствуют, что Бердяев должен был писать. Мне представляется, что то, что Бердяев писал о свободе, это то, что сейчас русским людям очень нужно, и они чувствуют, что этого они бы не знали, потому что он высказал некоторые положения, мысли, до которых они сами не могли бы дойти.

Если попытаться взглянуть объективно на судьбу русской культурной элиты в страшные годы после 1917 года, то надо сказать, что та самоотверженность, которую проявила Ахматова и многие другие, отказавшись уехать, — заслуживает глубокого уважения. Но, конечно, и то, что сделала эмиграция за эти два или полтора поколения, тоже огромная заслуга перед русской культурой. И то и другое оказалось необходимым. Жизнь же сложилась трагически, по-разному, но трагически и для тех и для других.

— Но мы говорим об Ахматовой только как о человеке и почти ничего не сказали о ней как о поэте. Вот сейчас, когда мы обладаем уже некоторой исторической перспективой, по-Вашему, какое место занимает Ахматова в русской поэзии XX века?

— Не только двадцатого. Я считаю Ахматову замечательным явлением во всей русской поэзии XIX и XX веков. Конеч-

но, это самый большой поэт-женщина; но неправильно говорить только о поэтессах, говоря о Ахматовой. Что бы она ни писала, ее стихи всегда поют; у нее есть это музыкальное начало, которого иногда нет и у очень больших поэтов. Например, его нет у Ходасевича. Стихи Ходасевича прекрасно написаны; может быть, они искуснее написаны, чем стихи Ахматовой, но каждая строчка Ахматовой будто куда-то летит и тянется. Стихи Бунина великолепно написаны, но слова ограничены словами. У Ахматовой этого нет. А ее первоначальный успех, то, что она оказалась сразу признанной, объясняется ее чисто стилистической находкой. Обыкновенно, когда люди, особенно женщины, пишут о своих чувствах, и все поэтессы говорят о любви, большей частью о несчастной любви, выражая, определяя свои чувства. Ахматова нашла прием, который сразу всех удивил: одним словом, двумя словами сказать о своем душевном состоянии, и так, что это сразу же яснее, острее врезывается в память. Я не буду повторять все стихотворение, потому что те, кто интересуется поэзией, его знают. Но вот две его строчки:

Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки —

что показывает ее душевное смятенье. Или другое стихотворение, которое, может быть, положило начало ее славе. Оно начинается так:

Сжала руку под темной вуалью.

Любовная драма. От нее уходит любимый человек. Но вот последняя строфа:

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

Пренебрежительно насмешливое замечание. Всю эту драму другая поэтесса растянула бы на десять страниц, а здесь в одной фразе вы чувствуете тон этой размолвки и все ее смятенье после его сухого совета — «не простудись». И этот ее прием всех поразил.

— Да, у нее было это уменье какой-то бытовой деталью объяснять сложное душевное состояние, причем оно у нее совмещалось с удивительной точностью. Это меня уже поразило в одном ее раннем стихотворении:

Когда я стану царицей
Выстрою шесть броненосцев
И шесть канонерных лодок.

или:

Но не заменят мне утрату
Четыре новые плаща.

И это проходит через всю ее поэзию:

Здравствуй! Легкий шелест слышишь
Справа от стола?

— Еще Некрасов дал урок точности. Помните его знаменитое стихотворение, в котором есть строка:

Сорок медведей поддел на рогатину,
На сорок первом сплошал.

Она, кстати, очень любила Некрасова. Когда-то Чуковский провел анкету среди русских поэтов о Некрасове, и все ответили, что Некрасов замечательный поэт. Максим же Горький (своя своих не познаша), считавший, что в стихах надо писать о цветочках и о женских головках, сказал, что, конечно, «Некрасов — это очень полезно, но какой же он поэт». Но о Некрасове я упомянул вскользь в связи с «сорока медведями». Настоящим учителем Ахматовой был Иннокентий Анненский, великий поэт, к несчастью, до сих пор еще не совсем признанный. В предисловии к одному из своих сборников она писала: «Я забыла все на свете, когда читала “Кипарисовый ларец” Анненского». Это был уже его посмертный сборник. Анненский ее настоящий учитель, учитель точности, как и многого того, что так замечательно в ее поэзии. Я недавно случайно раскрыл ее книгу и напал на строчку:

И не с кем плакать, не с кем вспоминать.

Подумайте, как эта одна строка передает все, что она могла бы сказать подробней и обстоятельней, но это было бы излишне. В этой строке сказано все.

— Это просто поразительно по лапидарности. И вот такие же:

Муж в могиле, сын в тюрьме.
Помолитесь обо мне

или:

Горька твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.

Я как-то сказал ей, как я ценю эти строки. А она ответила: «Но это не я, это — Данте».

— Но надо перевести так, чтобы это звучало по-дантовски. Дантом ее соблазнил Мандельштам, который им бредил. Но Ахматова знала итальянский язык и читала Данте в подлиннике.